

«У нас интеллигенция в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое: одни любили Бланки, другие – Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или, вернее, Беранже в переводах Курочкина, а если вы любили Влад. Соловьёва, то, значит, вы были равнодушны к конституции и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие». Это из Н.Берберовой. Её «Курсива». Что тут скажешь? Только вздохнёшь и захлопнешь книгу с досадой, словно это она виновата, что десятилетия идут, а мы всё по-детски выбираем «бочку с салом или казака с кинжалом», не умея допустить мысли, что оно бы и то, и другое не помешало. При этом у нас возможны метаморфозы, при которых человек может быть переселён волей общественного мнения из одной «графы» в другую, так что вчера мракобесием было не чтить его, а сегодня... Я говорю не о государственных деятелях России. Они автоматически со смертью проваливаются в какие-то исторические отстойники, откуда неосмеянным выбраться невозможно (храни, Господь, наших детей и близких от вершин власти!). Но ведь мы научились и с культурой так. В особенности в несчастные пореволюционные годы. И тут первое имя и величайшая жертва – Горький. Как застеснялись его в школьных и институтских программах! Те, кто властен над такими программами, с тонкими усмешками вытеснили его из литературы в общественные деятели, брезгливо, даже без особенной заботы об аргументации, оболгали и похоронили в «братской могиле» с РАППовцами (которых он разогнал), с Ягодой, Лениным и Сталиным. Солженицын припечатал его за благословение трудовых лагерей, дружный хор советских писателей, прокормившихся при Союзе без печали до пенсии, – за создание Союза писателей, литературоведы, поднаторевшие в трудах по социалистическому реализму, – за изобретение этого реализма, не взяв труда прочитать хотя бы Ю.Анненкова, который звал это утверждение «клеветой» и уверенно доказывал это в своем «Дневнике».

Кто теперь книжки читает? Достаточно тонкой усмешки при имени. Ох, эти усмешки! Сразу К.Леонтьева вспоминаю, когда он говорит о мастерах такой «гнусной тонкости»: «...теперь, когда я вижу у других эту тонкость, я не бью в морду одним – только потому, что они мне кажутся гораздо сильнее меня, а других, которые не страшны, не бью потому, что не хочу судиться у мирового судьи... Но что я чувствую! О Боже!..» Вот и я в таких случаях давлюсь гневом и умираю от бессилия. И непременно, просто поперёк этих усмешек, в 150-й день рождения хочу благодарно вспомнить Горького. Никого не призываю делить моё мнение (к старости учишься не бояться одиночества суждений), но для себя хочу сохранить это имя в ряду достойных русской традиции. И не об одной литературе хочу вспомнить, а чтобы говорить с противниками на нежелательных им полях, более именно о его «человечестве», которое оказалось взято под подозрение. Литератора в нём корили

все. Многие, как Нина Берберова, – не читая. Она говорила об этом честно. И, может быть, поэтому особенно без помех видела и писала его обиход, его пёструю повседневность, оставляя в «Курсиве» и «Железной женщине» живой, печальный, обаятельный образ человека, который «доверял и любил доверять» и которого поэтому «обманывали многие: от повара итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина, всё обещавшего ему какие-то льготы для писателей, учёных и врачей» и спровадившего его с глаз долой за границу.

Мнение Берберовой тем интересней, что она сама вполне «железна» и всегда умела взвешивать добродетели и пороки своих современников, как будто жила не среди людей, а сквозь них или по касательной, с вечно обернутым наружу зрением, ни разу не впустив их в себя и до слиянности не входя в них сама. И вот этот-то неустанный хищный наблюдатель умел при этом заметить только те слабости, которые были извинительны и в малом человеке, а в большом почти уже не слабости, а способ художественного существования – это желание немножко порисоваться перед незнакомым человеком, обнять его игрою ума, эти частые слёзы при чтении ли Бунина, при известии ли о смерти Чехова, а то и при слушании плохих стихов.

Умные люди умели это понять. Ходасевич вспоминает, что, разобравшись в оплаканном, он часто «сам же его бранил... Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность его творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дёшево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души». Нынешние господа хулители часто ловят эти низости, чтобы воздвигнуть на них свою пошлую аргументацию. Вот и языков-то Горький ни одного не выучил – экий простофиля! И образование-то у него – несколько недель. А пустяковой мысли в голову прийти не могло, что оттого и не выучил, что времени было жаль на механическую работу, тогда как можно было прочесть столько прекрасного. Виктор Шкловский роняет по поводу этого чтения: «книги, которых он прочёл так много, как только может прочесть самоучка» – и отлично видит его слабости: «Горький обременён количеством так, как старая Россия во время войны была обременена двенадцатимиллионной армией». Но тот же Шкловский нашёл для него замечательный образ в толстовском рассказе про черёмуху – «эту черёмуху рубили и топтали, а она всё выкидывала в сторону побеги и цвела». И итогом своего всепонимания выводил единственное: «Я нежно и верно люблю Горького».

Кажется, это общее чувство, соединяющее все воспоминания, – любовь. Или вот такая, как у Шкловского, Берберовой, Ходасевича, – с чувством дистанции, с полнотой зречести, «не забывая себя», или как у Анастасии Цветаевой – взахлёб, без никакой слабости, не позволяя себе увидеть её, когда книги велики, и нет этого опасливого, не доверяющего себе разделения на писателя и человека: «Алексей Максимович, я Вас ужасно люблю! А говоря языком современности – всё «ориентирую» на Вас: каждый луч на московском бульжнике и человека, которого мне дарит... жизнь». Да ведь если и вообще-то о творчестве: кто бы как ни корил и «буревестников» в строку не ставил, а горьковские воспоминания о Толстом все безусловно считали великими. А «На Дне-то вспомните! А «Детство»! Сам же он как раз цену себе знал, и можно твёрдо сказать, что без всякого кокетства говорил М.Пришвину: «...парнишка я бойкий, а таланта у меня мало». Не одному Пришвину он это говорил, и все остро запомнили (вон и Замятин отметил), – видно, было ново и непривычно слышать. Да и то – кто это из нынешних, даже и копеечного калибра, позволит усомниться в себе? И кто так легко забудет себя для хлопот о другом, совсем чужом, даже и враждебном по эстетике и миропониманию, станет о каких-нибудь юных Лунцах хлопотать или пестовать маяковских, которые завтра выставят твою любовь на посмешище. И кто знает, не потому ли такой уже привычно посрамляемый за рыхлость «Клим Самгин» и остался невыстроенным и неоконченным, что на своё детище времени уже не хватало.

Сколько он написал одних писем! Пуды и пуды! И что за письма! И кому? Р.Роллану, Г.Уэллсу, С.Цвейгу, Б.Шоу, где надо было ни атомом не уступить тонким европейцам, стилистам, мыслителям, которые всякую строчку на свет поглядят и на зуб попробуют. «Все эти иностранцы Ролланы и Барбюсы и раздвижной Анатолий Франс с иронией букиниста не знают, какого великого современника они могли бы иметь» (В.Шкловский). А письма Толстому, Бунину, Шмелёву – это уж и интонация другая, и мысль, и мир, и сердце. А К.Тимирязеву, Ф.Нансену – куда это всё? И как поместить в одну судьбу? Не мудрено, что К.Чуковский никак не может расположить в сознании, откуда у Горького

столько сведений о мировой культуре, что и профессора, спасаемые им во «Всемирной литературе» от голода, «только опускают глаза, как школьники, не выучившие урока». Защищаясь от этого непонимания, Чуковский, наконец, решает, что «эта огромная и поражающая эрудиция» сводится к вере «в заглавие, в реестр, в каталог», но умудряется как-то пропустить мимо сознания, что все эти «заглавия, реестры, каталоги» проштудированы от корки до корки.

Как угодно зови, а, похоже, он действительно «смотрел на жизнь восемью или больше глазами, равномерно расположенными вокруг головы», как писал тот же Шкловский. И как верно это общеотмечаемое виртуозное владение устным рассказом – всегда богаче письменного. Это свойство именно народного дара, из того земного истока, откуда русские песни текут. Поневоле мне часто Виктор Петрович Астафьев вспоминается, как-то сам собой проступает как сквозь промокательную бумагу. Даже и вот эта поражающая воображение память и эта неутомимая страсть знать и ворочать тонны книг. Эти бы подружились или уж разругались – так в пух и перья – как миргородские близнецы. И как дорого и редко нынче это, снисходительно отмечаемое Берберовой, «викторианское чувство стыда» в Горьком за всякую пошлость и непристойность, за «оборотную сторону» жизни, которую по его твёрдому старомодному мнению, надо было скрывать. Не за это ли он, любивший всё, так открыто не любил Достоевского, не за тайны ли, которые должны быть скрыты? На нынешний «свободный» взгляд это дикость и провинциализм. Когда же и выволочь человека в исподнем на свет Божий, как не сейчас, когда же и поглумиться всласть над тем, как он жалко устроен и сколько у него стыдных отпавлений.

Только кажется мне, что чаще это делается сытыми людьми из благополучного быта. А кто этот самый «оборот» повидал во всем беспощадном многообразии, тот как раз лучше знает, что узорчато написанная низость не убавляет зла в мире, а прибавляет его, искушает и провоцирует. Да только до кого сейчас с этим докричишься? И кому втолкуешь, что Горький шире и дальше несчастной фразы: «Если враг не сдаётся, его уничтожают», что спасённое им из ЧК человечество могло заселить небольшую умную державу. А уж когда тирану понадобится лозунг, он найдет его и у святого. У Замятина есть такие дорогие слова: «Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих «перегибов» в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры – было результатом этих дружеских бесед (со Сталиным. – В.К.).

Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии». Я поглядел на дату замятинского слова – 1936. В этом году Горького не стало. Случайно ли его не стало перед страшным 1937-м? Не потому ли, что год этот уже нужен был деспотии, а писатель мешал. Мешал теперь Сталину, как прежде Ленину. Как Т.Манн когда-то писал, что, будь жив Толстой к началу Первой мировой войны, она бы не началась – стыдно было бы перед этим человеком. Вот и тут стыдно было бы. А Сталин этого «викторианского» чувства не любил. И Горькому пришлось «умереть»... Конечно, была в запасе ещё возможность шельмования. Извлеки Сталин на свет Божий «Несвоевременные мысли» – и вот готовый «враг народа». Но искусству шельмования вождь как следует научится позднее. И, к сожалению, научит и нас. Ведь это мы сами сократили огромное наследие писателя до романа «Мать» и роковой фразы о «несдающихся врагах», чтобы удобнее было вывести слишком заметную фигуру во второстепенные, сосчитали количество квадратных метров занятого им особняка и оценили стоимость его коллекций. Пошлость опять победила в нас. Мы опять ничему не научились и, как тогда, гнали свою лучшую мысль балтийским парохомом за границу, так теперь со слепой безрассудностью «сплавляем» новые жертвы Летою в небытие. По-прежнему, если любишь Булгакова и Платонова, то любить Горького – значит уже противиться «демократическим реформам» и кончить «мракобесием». Скучно жить на этом свете, господа...